

Не могу молчать.

(О смертных казнях).

Л. Н. Толстого.

I.

«Семь смертных приговоров: два в Петербург, один в Москву, два в Пензу, два в Ригу. Четыре казни: две в Херсон, одна в Вильну, одна в Одессу».

И это в каждой газете. И это продолжается не неделя, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считается всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрерывно казни, казни, казни.

Воту вышедшую газету.

Ничего, 9 мая, что-то ужасное. В газете стоить короткая строка: «Сегодня в Херсон в Стрельбицком полку казнен через повешение двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в елизаветградском у.» *).

Двадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда воды и до той ужасной жиры вры, в которую мы не врием, на которую стараемся всеми силами вунуть им, — двадцать таких людей задуманы веревками теми самыми людьми, которых они кормят и одвывают и обстраивают и которые развращали и развращают их. Двадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброту, трудолюбие, простоту которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в кожные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые солдатские мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными в парчевой рязи и в эпитрахили, с крестом в руках, идет человек с длинными волосами. Шесте

останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу и когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удешить веревками, говорит что-то о Боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, — их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, разведя мыло и намывлив петлю веревки, чтобы лучше затягивались, — берутся за закованных, надвывают на них савамы, взводят на помост с виселицами и накладывают на шею намывленную веревочную петлю.

И вот один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петлю и мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в виселицы на веревках мертвых тл, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности.

Все это для своих братьев-людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так, чтобы никто не видел их, придумано то, чтобы ответственность так бы распределилась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать: не они виновники их. Придумано то, чтобы развешивать самых развращенных и несчастных людей и заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делавшими это дело. Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военные) суда, а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские. Исполняют же дело нечастные, обманутые, развращенные, презираемые, которым остается одно: как-нибудь выжить. Намылив веревки, чтобы на веревное затягивали шею, и как бы по-лучше напиться продаваемым этим же просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорше и понаше забыть о своей душе, о своем человеческом звание.

Врач обходит тла, ошупывает и докладывает начальству, что дело совершено, как должно: все 12 человек несомненно мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, ходи и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тла снимают и зарывают!

Видь это ужасно! И делается это не один раз и не над этими только 12-ю несчастными, обманутыми людьми из лучшего сословия русского народа, но делается это не переставая, годами над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела.

Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству заглушающему ум, как это делается в

драме, на войне, в грабежах даже, а напротив по требованию ума, расчета, заглушающего чувство. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела совершаются от судьи до палача людьми, которые не хотя их делать, ничто так ярко и явно не показывают всю губительность для душ человеческих, власти одних людей над другими.

II.

Ужаснее же всего в этом то, что все эти безчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилия и их семьям, причиняют еще большее и величайшее зло всему народу, разносясь быстро распространяющиеся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа.

И распространяется это развращение с необычайной быстротой.

Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мн, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не так.

В Москве торговец-лавочник, разстрелив свои дела, предложил свои услуги и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле и теперь велит по-прежнему торговлю.

В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнить это дело, срядившись за 50 руб. с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился за дело, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач, во время совершения казни, надвывая на убиваемого саваму-мешок, вместо того, чтобы вести его на помост, остановился и подоидя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертый билет, а то не стану. Ему прибавили, и он исполнил».

Следующая казнь предстояла пятерым. Пакануи казни пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вошел. Неизвестный человек сказал:

«Надшь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Ничего, слышно, пятеро назначено. Прикажете всех за мной оставить, я по пятнадцати цыковых возьму и буду покойны, сдлаю, как должно».

Не знаю, принято ли было или нет предложение, но знаю, что предложение было.

О казнях, повешениях, убийствах, бомбах ничего и говорить теперь, как прежде говорили о погоне. Дети играют в повешение. Почти дети-гимназисты идут, с готовностью убить, на экспроприацию, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением зе-

мельного вопроса.

Всякое преступление, грабеж, воровство, ложь, мучительство, убийство считаются несчастными людьми делами самыми естественными, свойственными человеку.

Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения еще ужаснее.

III.

Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а все дело в духовном настроении народа, которое изменилось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию, так же нельзя вернуть, как нельзя взрослому сдлать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жить в Петрове или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Черникове, на югорге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но все огромное большинство людей будет смотреть на свое положение, от того, как большинство это будет относиться к власти, к земной собственности, к проповедуемой вере — от того, в чем большинство это будет видеть добро и в чем зло. Сила событий и дел не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убий и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какой вы желаете.

Так что, все, что вы делаете теперь с вашими обскажи, шплетвами, изнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами — все это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения.

«Но что же делать? — говорите вы, — что делать? Как прекратить те злодеяния, которые теперь совершаются?»

Ответ самый простой: перестать делать то, что вы теперь делаете.

Если бы никто и не знал, что нужно делать для того, чтобы успокоить «народ», — весь народ, — если бы никто и не знал, что нужно теперь для успокоения народа, то, все-таки, очевидно, что для успокоения народа уже наверное не нужно делать того, что только увеличивает его раздражение. А вы именно это только и делаете.

Знакомый мн человек задумал картину «Смертная казнь», и ему нужно было для натуре лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве было палача исполнял сторож-дворник. Художник пошел в дом к сторожу. Это было на Святой. Семейные разряженные сидели за чайным столом; хозяйка не было; как в том случае, он спрятался, увидев знакомого. Жена тоже смутилась и сказала, что мужа нет

дома, но ребенок-двочка выдала его.

Она сказала: «Бага на чердак!» Она еще не знала, что ее отец знает, что он делает дурное дело, и что ему поэтому надо бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему человек для «натуры», для того, чтобы снимать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. (Художник, разумеется, не сказал для какой картины ему нужно было лицо дворника). Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить ее, взять к себе на вичку мальчика-сына. Предложение это, очевидно, подкупило хозяйку. Она вышла и через несколько времени вошла и глядящая исподлобья хозяйка, мрачный, безпокойный и испуганный; он долго выпитывал художника, зачьм и почему ему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видал, в какой час, и, очевидно, боясь и подозрывая худое, отказался от всего.

Да, этот непосредственный палач знает, что он палач и, что то, что он делает, дурно и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей. И я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины.

VI.

Знаю я, что все люди — люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мн. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством.

А не могу и не хочу, во-первых, потому, что людям вичать необходимо обличение. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться потому, что (откровенно признаюсь в этом) надвюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мн извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником.

Видь, все, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то все это делается и для меня, живущего в России.

И как ни странно утверждение о том, что все это делается для меня и что я участник этих страшных дел, я, все-таки, не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обьдом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями, которые совершаются для устранения тех, кто желал бы отнять у меня то, чьм я пользуюсь.

А сознавая это, я не могу долбе переносить этого, не могу и должен освобо-

диться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду.

Зачьм я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вич ея, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожалась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делают все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смью мечтать о таком счастье), надвляли на меня так же, как на тех двадцать или двенадцать преставив саваму, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул бы на своем старом горле намывленную петлю.

VII.

И вот для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей, обращаюсь ко всем участникам этих страшных дел, обращаюсь ко всем, начиная с надвывающих на людей-братьев, на женщин, на детей колпаки и петли, от тюремных смотрителей и до васт, главных распорядителей и разрешителей этих ужасных преступлений.

Люди-братья! омонитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы.

Видь вы, прежде всего, вы — люди. Ничего вытланили на свѣт Божий, завтра вас не будет! Вы не можете не знать того, что у вас так же, как у каждого из нас, есть только одно настоящее дело, включающее в себя все остальные дела, — то, чтобы прожить этот короткий промежуток данного вам времени в согласии с той волей, которая послала вас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта хочет только одного: любви людей к людям.

Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Никого. Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но видь это не любовь. Любовь жены, детей, это не человеческая любовь. Так и сильне любят животных. Человеческая любовь — это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну Божию, и потому брату.

Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто.

Да, подумайте все вы, подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете. Перестаньте — не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, не для своей души, для того Бога, который, как вы ни заглушаете Его, живет в вас.

31-го мая, 1908 г.
Ясная Поляна.

Рев. - 1908 - 3 мая - с. 2.